

Трепещут лепестки на ветру, переливаются прожилками таких известных смыслов, с которыми ничего не сделать, ибо верны:

Сердце в будущем живет;
 Настоящее уныло:
 Всё мгновенно, всё пройдет;
 Что пройдет, то будет мило.

Формула точности, и вместе — лёгкости: необыкновенной, пенной, воздушной...

На имени Пушкина лежит такое количество глянца и елея — имперского, гимназического, академического, советского, антисоветского, анекдотического, школьного — кажется, через все эти слои пробраться к живому слову поэта практически невозможно. Между тем, надо просто вслушиваться:

Буря мглою небо кроет,
 Вихри снежные крутя;
 То, как зверь, она завоет,
 То заплачет, как дитя...

И сам напев утишит душевный раздрай, уврачуеет раны, избыточно наносимые технологической современностью...

Мороз не стал менее крепким, а солнце не потускнело: ему-то что до человеческого прогресса?

Мороз и солнце; день чудесный!
 Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
 Пора, красавица, проснись:
 Открой сомкнуты негой взоры
 Навстречу северной Авроры,
 Звездою севера явись!

Дыхание поэзии ощущается через все дебри сложностей, навороченные последующими веками. Волшебное дыхание небесной выси, услышанное и почуянное поэтом, перенесено в человеческое речь...

Возможно, Пушкин сначала видел свои стихи, как композитор видит музыку в красивых цветовых наслоениях и узорах — там, в недрах своих, в глубинах, о сущности которых и не знал. А потом уже проступали слова. Такие простые, такие знакомые, вместе с тем, совершенно особенные, точно наполненные духовным млеком и сочетающиеся в строки. Эти строки знакомы нам с детства, они далеко не первый век работают на осветление пространства...

Однако прочтём один из шедевров Пушкина — стихотворение «Воспоминание», особенно любимое Львом Толстым:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Лев Николаевич воспринимал это стихотворение не только как некую исповедальную правду Пушкина о себе самом, но и о нём, о Льве Толстом. Для него, как и для многих других читателей Пушкина, это стихотворение имело смысл общечеловеческой сути. Таким оно остаётся и поныне. Страшное совершенство этих строк словно расщепляет сознание читающего: но именно в этом совершенстве и есть световая основа, высота, заставляющая видеть себя под неприглядным углом для того, чтобы меняться к чаемому Божьему предназначению...

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Почему-то сразу кажется — это зимой писалось. Можно свериться со справочниками, но — стоит ли? Лучше представлять — возок, синееющие отвалы снежного серебра, маленького человека в тяжёлой шубе, задумавшегося о собственных сроках. Часто задумывавшегося. И не о себе только...

Несчастный безумец бежит от грозного всадника, чья медь вовсе не предназначалась для того, чтобы сводить кого-то с ума.

Онегин вглядывается в грядущее, которого — ни понять, ни представить; потом, махнув рукой, уходит в вечность через массу деталей и подробностей, через пресловутый каталог жизни — уходит, чтобы никогда не умереть; да и друг его — несколько нелепый Ленский — всё жив и жив, пока не застрелит его Евгений...

Образы Германии встают: вездесущий и всезнающий, вечно ироничный Мефистофель, впрочем, обозначенный полупрезрительным словом — бес — потопит корабль, как и было велено.

Финские камни возникнут. Жарко коснётся души дыхание Корана, чья кропотливая вязь слишком непривычна европейскому сознанию. У Пушкина это татарское дыхание мешалось с русским, с любовью — до страсти — к сказкам, былинам, ко всему, что давал предшествовавший ему космос. Дон Гуан проедет по ночному Мадриду, где кружево арабских кварталов таинственно вдвойне — Дон Гуан рассчитывает при этом на приключение, а отнюдь не на визит Каменного гостя...

Рассчитывал ли Пушкин на долгую жизнь?

Если верить русскому провидцу Даниилу Андрееву смерть его, убийство его есть следствие чрезвычайного сопротивления демонических сил силам провиденциальным, пославшим поэта в русскую реальность...

Цепочка кровавых пятен на снегу, плачущий Данзас...

Много лет прошло, но совсем рядом жарко дышит анчар, всё отравляя...

Надо просто читать.

2

Коды прозы Пушкина — в поэзии: проза растёт из неё, и строится по своеобразному принципу: будто не фраза, а строка, та же естественность любого поворота, и рифма, мнится, вспыхивает двоением в роскошно отполированном зеркале вечности.

Страшна ли «Пиковая дама»? В детстве можно испугаться — правда, сегодня вряд ли кто-то будет читать это ребёнку...

Психология даётся своеобразно: тонко просвеченными нитями, намёками: тут ещё нет последовавшего в русской прозе мощного психологического портретирования. В рассказе «Гробовщик», скажем, оно и невозможно: тут важен сюжет, схема необычности, выход за пределы реальности...

Любовь к отеческим гробам проступает, искажённая карнавальная стихией.

«Капитанская дочка» разворачивается спокойно: не суля нагромождения, напластования трагедийных ситуаций. И Пугачёв, появляющийся в самом начале повествования, ничем не похож на позднего, неистового... Пугачёв для Пушкина двойственен: не столько как объект научного исследования, сколько как символ стихии русского бунта — логично избыточного, ибо альфа социальной несправедливости особенно сильно всегда чувствовалась в России. Как, впрочем, и ныне...

Снежные, свежие, морозные строки-фразы — даже ежели речь о лете, или любимой осени; строки, отливающие мрамором: без его тяжести, белым-белым... Живой мрамор пушкинских строк, созидающих суммарно прозу поэта, сияет, маня, влечёт всё новыми и новыми погружениями в такое знакомое пространство отечественной истории.

3

Борис Годунов раскинет мощно цветочные слои исторического космоса по небу духа... Страшный, несчастный Борис, — из недр Шекспировского, как будто, мира, но совершенно русский, растянутый, если не распятый на крюках грехов, с наползающим ужасом, сминающим все чувства, все возможности дальнейшего бытования... Сколь возвышен белый стих! Кажется, и рифмы — лёгкой подруги — более не надобно, мешала бы, отвлекала...

Европейское время растягивалось, как река, теряя точную атрибутику периодов, в противостояние двух начал — гения и злодейства, о чём не подозревал солнечный

Моцарт. Время конкретно, как донельзя конкретны трактир и вино — мнится — можно попробовать и оценить вкус...

Скупец, спускающийся в подвал, опьяняющий себя сильнее всякого вина: гипноз золота своеобразен, его не истолкуешь так просто, иначе по-другому строилась бы жизнь...

Воздух Украины вполне отвечает европейской старине, поражая такой словесной прозрачностью, что ощущения собственные — спустя два века — как будто уточняются:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет.

Громоздится восковой череп замка; зреют события, вызревает тугая, полная таинственным соком виноградная гроздь истории... Пушкин не мыслится вне её: она близка — различная: и Римом, и Византией, и Испанией, и Германией: щедрое сердце поэта вбирает в себя все эпохи, чтобы перевоссоздать их по-русски, приблизить к русской тайне, к русскому космосу...

Пышно говорил Достоевский на открытии памятника: сильно, восторженно; а Бунин отвечал на вопрос о Пушкине так: «Не смею я о нём никак думать...»

Буйная пестрота цыган; неистовство разрывающих крючьями страстей: но тело-то остаётся — крючья работают метафизические... Ту цыганщину, которую любил Пушкин, не представить сегодня: и песен таких не уцелело, и накал подобный был бы в диковинку.

Смириться? Пушкин был против — большую часть своей огромной и такой короткой жизни.

Он был против до периода:

Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей...

Тут уже тугими пульсациями смирение ощущается, всё более и более важное для гордого человека...

Ахматова писала о Пушкине легко и таинственно; Цветаева — с волшебным своим жаром-захлѐбом-неистовством; Тынянов рассматривал трезво, научно, если и допуская фантазию, то в пределах источникововедения; Даниил Андреев так, как мог бы моряк блуждавшего в темноте корабля отнестись к маяку. А вот — Пушкин анекдотический — из рассказа Зощенко «В Пушкинские дни» — здесь Пушкин, увиденный сквозь кривые мешанские окуляры, словно ставший забавным, хотя забавны те, кто так видит...

Руслан вечно несѣтся на бороде Черномора; а сказки кота отдают извечностью тайны; запутаны многие тропы «Руслана и Людмила», начинены, кажется, содержанием, которое передал молодому поэту таинственный волхв. Или не было такой встречи?

Разное можно предполагать: храня живого Пушкина — через пуды напластований, через школьную, познанную всеми рутину, храня чудо философского камня его грандиозного наследия.

4

Влиял ли весѐлый остроумец и сатирический наблюдатель современного ему социума Василий Львович Пушкин на племянника, ставшего солнцем русской поэзии? Мудрый и жизнерадостный дядя беседует с молодым поэтом без всякой дидактики и ворчливости:

Племянник и поэт! Позволь, чтоб дядя твой
На старости в стихах поговорил с тобой.
Хоть модный романтизм подчас я осуждаю,
Но истинный талант люблю и уважаю.
Послание твоѐ к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер.

Романтизм, как известно, был присущ А. Пушкину, по крайней мере, в определённые периоды жизни; а В. Пушкин, придерживался традиций классицизма, хотя и изрядно разбавленных новыми веяниями. Однако, есть и в сатирических струях, запускаемых в небо А. Пушкиным, нечто от ядовитых сатир дяди:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

Осуждается одно, а В. Пушкин, кажется, осуждает другое:

Нет боле сил терпеть! Куда ни сунься: споры,
И сплетни, и обман, и глупость, и раздоры!
Вчера, не знаю как, попал в один я дом;
Я проклял жизнь мою. Какой вралеи содом!
Хозяин об одной лишь музыке толкует;
Хозяйка хвалится, что славно дочь танцует;

А дочка, поясок под шею подвязав,
Кричит, что прискакал в коляске модной — граф.

Но корень осуждения получается общим. И глобальность его — изначальная человеческая порочность, вшифрованная уже в сам физиологизм; и корень этот течёт ядовитыми соками...

Ни лирика, ни сатира не врачуют — увы, никакой социум не прислушивается к поэзии настолько, чтобы меняться...

Тем не менее, лад стиха племянника и дяди имеют нечто общее.

Облачка схожести можно увидеть, если быть пристрастным, и читать насквозь, но, разумеется, практически нигде Василий Львович, при всём уважении к его дару, не достигает той глобальной ясности, глубины и красоты, которую продемонстрировал племянник, поменявший весь строй русского слова.

5

Великолепный Пушкин!

Один из символов Москвы, всем известный, благородно патинированный памятник: самое известное детище А. Опекушина; памятник, у которого назначались встречи и свидания, собирались читать стихи, бывало, и митинговали...

Грустный Пушкин, руку засунувший в жилетку; а складки одежды, переданной мастером, текут так, будто жизнь бронзы адекватна жизни податливой ткани... И — совершенно другой Пушкин: вдохновенно читающий стихи (придумайте какие), откинувший руку, с очами, поднятыми горе: к солнцу духу, к самой его высоте: Пушкин, исполненный М. Аникушиным, установленный на площади искусств в Питере...

Два разных видения: бесчётно умножаемый временами на миллионы восприятий Пушкин, мощно явленный двумя столь не похожими мастерами скульптуры...

Опекушин, убеждённый монархист, православный христианин, выполнивший Царские врата для иконостаса Воскресенского собора Троице-Сергиевой Приморской пустыни; великолепный Опекушин, полагавший Писание основой основ бытия, первую награду — Малую серебряную медаль — получивший за барельеф на библейскую тему: «Ангелы, возвещающие пастухам Рождество Христово»... Он был строг в своих художественных решениях: и Пушкин, склонивший главу, свидетельствует об этом.

И — М. Аникушин, родившийся в год революции, выросший советским человеком и художником; работавший в классических канонах традиционалистской школы...

Разные миры, по разному пронизанные и освещённые человеческие бездны... И — какие разные, оба светящиеся великолепием, будто тугой материал этих памятников пронизан лучением изнутри — Пушкиным...

